

Николай Эдуардович Гейнце

Малюта Скуратов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Н63

Н63 **Николай Эдуардович Гейнце**
Малюта Скуратов / Николай Эдуардович Гейнце – М.: Книга по Требованию,
2012. – 186 с.

ISBN 978-5-4241-1394-9

В романе "Малюта Скуратов" русский беллетрист Н.Э.Гейнце показывает исторические события начала 60-х годов XVI века, времен Ивана Грозного.

Герои его произведений, события прошлого излагаются без отступления от фактов, глубокое проникновение в быт и обстановку помогает правдиво воспроизвести характеры людей того времени.

ISBN 978-5-4241-1394-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Николай Эдуардович Гейнце
Малюта Скуратов

Часть первая

Любовь опричника

I

На лобном месте

Был десятый час вечера 16 января 1569 года.

На дворе стояла непроглядная темень. Свинцовые тучи сплошь заволакивали небо и, казалось, низко-низко висели над главами монастырей и церковей московского кремля.

Шел частый мелкий снег, а порывы резкого ветра поднимали его с земли, не дав улечься, и с силой крутили в воздухе, готовые ослепить каждого смельчака, решившегося бы выглянуть в такую ночь за дверь своего дома. Подобного смельчака, впрочем, и не было: как кремль, так и местность, его окружающая, известная под именем Китай-города, были совершенно пустынные, и на первый взгляд можно было подумать, что находишься в совершенно безлюдном месте, и лишь слышавшийся отдаленный или, быть может, разносимый ветром лай собак давал понять, что кругом есть жилища живых, но спящих или притаившихся обывателей.

Необходимо заметить, что в то время, к которому относится наш правдивый рассказ, даже в хорошую погоду Москва казалась безлюдной.

Не мудрено, что в поздний вечер и в такую адскую погоду город был похож на пустыню.

Белокаменная, каковою в то время она далеко не была, так как большинство теремов боярских были деревянные, подлый же народ — так назывались тогда простые, бедные люди — ютился в лачугах и хижинах, переживала в это время, вместе со всею Русью, тяжелые годы.

Царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич покинул столицу и жил в Александровской слободе, окруженный «новым боярством», как гордо именовали себя приближенные государя — опричники, сподвижники его в пирах и покаянных молитвах, резко сменяющихся одни другими, и ревностные помощники в деле справедливой, по его мнению, расправы с «старым боярством».

Объятый ужасом при зрелище ежедневных казней, народ притаился и притих: каждый старался сплотиться в своей семье, укрыться от начальства, чтобы подчас неповинно не потерпеть в продолжающейся общей кровавой расправе. Никому не было ни до дел, ни до гульбищ.

Потому-то город и казался пустынным, начиная с восьми, много с девяти часов вечера, всюду уже тушили огни и ни одна живая душа не показывалась на улице.

Менее всего можно было ожидать встретить кого-нибудь в описываемый нами вечер 16 января, когда на дворе стояла такая погода, в которую, как говорится, хороший хозяин и собаки за ворота не выпустит.

Рассчитывая, вероятно, на это, но все же озираясь пугливо по сторонам и чутко прислушиваясь к едва слышному за разгулявшейся воесю вьюгой, скрипу собственных шагов, со льда Москвы-реки поднимались три пешехода, одетые в черные охабни, в высоких меховых шапках на головах, глубоко надвинутых на самые глаза, так что лиц их, закрытых еще приподнятыми воротниками, разли-

читать не было возможности. По походке и фигурам можно было только заключить, что один из них, шедший порою впереди, был моложе двух остальных и казался их начальником или руководителем.

— Ну, уж и погоду Бог дал! — глухим голосом произнес один из пешеходов.

— Оно и лучше, по крайности безопаснее, — заметил другой.

— Тсс! — остановил молодой разговарившихся было своих спутников.

В этом сказанном им «тсс!» прозвучало нечто властное.

Незнакомцы наши, той же неторопливой, крадущейся походкой шли вдоль кремлевской стены, мимо собора Богоматери, по направлению к лобному месту.

Лобным местом называлась площадь, где казнили преступников, где они теряли головы (лоб); она находилась в Китай-городе, тотчас же за кремлевской стеной, между двух ворот московской твердыни — Никольскими и Спасскими. В настоящее время на этой площадке воздвигнут памятник князю Пожарскому и Кузьме Минину-Сухорукову.

В описываемую нами эпоху лобное место было днем самым оживленным в городе. Это место смерти более всего проявляло жизни, так как без казни не проходило ни одного дня, и приспособления к ней, в виде громадного эшафота, виселицы и костров, так и не убирались с площади, в ожидании новых и новых жертов человеческого правосудия и уголовной политики.

Смертной казнью наказывались: богохульники, еретики, соблазнитель к чужой вере, государственные изменники, делатели фальшивых бумаг и монет, убийцы и зажигатели, церковные тати, обыкновенные воры, попавшиеся в третий раз, и уличные грабители, пойманные во второй раз. Отсечение головы было делом большинства преступников; немногие попадали на виселицу.

Костер служил для казни еретиков и зажигателей. Делателям фальшивых монет вливали в рот растопленный свинец. Муже- и женоубийцы зарывались по шею в землю.

Богатство могло спасти многих преступников от наказаний, но не спасало государственных изменников.

Малейшее подозрение было достаточным основанием для предания суду, то есть пытки, что было одно и то же.

Орудиями пытки были, обыкновенно, палки и кнут; кроме того, пытаемого жгли раскаленным железом, рвали раскаленными щипцами или, привязав к столбу, поворачивали на медленном огне.

Важнейших преступников за шесть недель до казни заключали в нетопленые темницы, а еретиков сжигали, после троекратного увещания к раскаянию.

Смертные приговоры над государственными преступниками, которые в то время назывались общим именем «изменников», исполнялись вместе с другими ворами и убийцами, в один и тот же день, на одной и той же плахе или виселице.

Преступников, казненных через повешение, оставляли на виселице до раннего утра следующего за казнью дня, и вид этих висящих тел, в белых саванах, казался для тогдашних исполнителей закона лучшим средством к обузданию злой человеческой воли, в силу господствовавшей тогда в законодательстве теории устрашения: «дабы другим не повадно было».

День 16 января 1569 года тоже не обошелся без казни, хотя при этом, по распоряжению самого царя, не было пролито крови, так как день этот был годовщиной венчания его на царство.

Всех четверых приговоренных повесили, и самая казнь была совершена не ранним утром, как было обыкновенно, а после поздней обедни, затянувшейся далеко за полдень по случаю торжественного дня.

Трупы казненных, колеблемые порывами ветра, мерно покачивались на виселице, когда к ней подошли наши, не побоявшиеся непогоды, путники.

Это страшное орудие казни и было, оказалось, целью их таинственного путешествия.

Все трое осторожно поднялись по обледенелым ступеням и остановились на подмостках, почти около качающихся тел.

— Который? — хриплым шепотом произнес тот, который начал несвоевременный разговор еще на берегу реки.

— Крайний слева... — также тихо ответил молодой.

Спросивший обратился к третьему:

— Никитич, разыщи-ка чурбан.

Названный Никитичем наклонился и начал шарить руками по настилке подмосток, пока не нащупал большой деревянный чурбан, подставляемый палачом под ноги преступников во время накладывания им на шею петли и выбиваемый затем из-под их ног.

Чурбан, оказалось, стоял под последним висельником, который и упирался в него ногами.

За господствовавшей темнотой этого сначала не заметили.

Никитич сообщил о своем открытии.

— Так оно и должно было быть! — прошептал молодой. — Наш-то был казнен последним, когда уже совсем стемнело... — стал припоминать он события истекшего дня.

Никитич, с помощью своего сотоварища, по знаку, сделанному молодым, и переданному им шепотом приказанию, взобрался на чурбан и довольно быстро снял петлю с шеи повешенного, которого молодой, обладавший, видимо, недюжинной силой, приподнял за ноги.

Когда петля была сброшена, тело приняли на руки стоявшие внизу, а Никитич осторожно спустился с чурбана.

Затем с висельника сняли саван, и тот, который, как видно, руководил этим загадочным предприятием, сбросил с себя охабень и остался в одном кафтане.

— Несите осторожнее, — сказал он своим товарищам, — а княжне от меня земной поклон! Да скажите ей, что совета и любви желает ей Яков Потапов.

Голос говорившего дрогнул, и в нем послышались худо скрываемые слезы.

— А разве ты не с нами, Яков Потапович? — недоумевающим голосом спросил Никитич.

— Нет, мне другая дорога! — с горечью усмехнулся молодой.

— А как на заре могильщики придут убирать их, — кивнул в сторону висевших тел другой, а четвертого и нет, — пойдут сыски да розыски, до княжны да до нас доберутся... Не быть бы беде, горше нынешней...

— Небось, не доберутся, — глухо ответил Яков Потапович, — не твоя забота: на себя я все дело взял, а меня, чай, знаешь, в слове крепок, никого под ответ не подведу, для того и остаюсь здесь...

— Здесь? — испуганно спросил, вступив в разговор, другой.

— А то где же? — оборвал его Яков Потапович. — Однако не теряйте време-

ни, несите с Богом, — заключил он, указав рукою на завернутое в охабень тело снятого висельника.

Оба его спутника послушно и молча приподняли свою страшную ношу и стали спускаться с ней по ступеням подмосток.

Яков Потапович зорко следил за их малейшими движениями и не спускал глаз с удалявшихся, пока они не скрылись в непроглядной темноте снежной ночи. Шум их шагов еще некоторое время доносился до него, и он жадно прислушивался к ним, и только когда, кроме завывания вьюги, ничего не стало слышно, снял шапку и истово перекрестился в сторону едва различаемой громады собора Богоматери, ныне известного под именем Василия Блаженного, затем огляделся кругом, провел рукой по волосам, уже смоченным снегом, и, опустившись на колени на подмостках виселицы, под мерно раскачивающимися трупами, стал молиться.

Приехавшие на рассвете могильщики сняли с виселицы четыре трупа и, уложив их в сколоченные из досок некрашенные гробы, повезли на кладбище, где и зарыли в приготовленные неглубокие могилы.

Город был все так же пустынен, и телегу с четырьмя гробами провожал лишь какой-то юродивый, которых в столице было много в те тяжелые времена, и народ любил и уважал их, как «людей Божиих», боязливо прислушиваясь к их предсказаниям в надежде на лучшее будущее.

Двое приехавших на лобное место могильщиков тоже не воспрепятствовали Божьему человеку не только сопутствовать им, но даже помогать снять трупы казненных и уложить их в гробы.

— Видно, кто-нибудь из них мученическую кончину принял! — рассуждали шепотом они про казненных, видя, как усердно помогает им «Божий человек» в их печальной работе.

II

В царских палатах

Царь Иоанн Васильевич сидел в одной из кремлевских палат, рядом с опочивальной, и играл, по обыкновению, перед отходом ко сну, в шахматы с любимцем своим, князем Афанасием Вяземским.

Последний был видный мужчина, с умным выражением правильного, чисто русского лица, с волнистыми темно-каштановыми волосами на голове и небольшой окладистой бородкой.

Сам царь был тоже высок, строен и широкоплеч, в длинной парчовой одежде, испещренной узорами и окаймленной вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. В это время Иоанну было от роду тридцать девять лет, но на вид он казался гораздо старше.

Он только что выслушал перед тем доклад Малюты Скуратова о сегодняшней казни, и время, оставшееся до отхода ко сну, посвятил своей любимой игре.

Царь был в Москве 16 января 1569 года лишь потому, что, как мы уже знаем, в этот день была годовщина его венчания на царство, и утомленный почти целый день не прерывающимся по этому случаю богослужением, отложил свой отъезд в Александровскую слободу до утра следующего дня.

В этот день сам он не присутствовал на казни, но все же сделал распоряжение, чтобы перед сном к нему явился игумен Чудова монастыря Левкий для духовной

успокоительной беседы, потребность в которой грозный царь чувствовал всегда в день совершенной по его повелению казни.

Афанасий Вяземский угождал царю при всяком его настроении, изучив слабые струны его души, и теперь, несмотря на то, что, отлично играя в шахматы, знал всегда все замыслы своего противника, умышленно делал неправильные ходы и проигрывал партию за партией. Царь пришел почти в веселое расположение духа.

Он любил чувствовать даже в мелочах надо всеми свое превосходство, и горе было бы царедворцу, осмелившемуся обыграть царя. Несчастный дорого бы мог заплатить за этот выигрыш и, пожалуй, проиграть жизнь.

— Шах и мат! — воскликнул царь. — Ну, Афоня, тебе что-то не везет со мной.

— Помилуй, государь, я хотя и считаюсь лучшим игроком на Руси, но как ни бьюсь и не вдумываюсь в игру, никак не могу постигнуть твоих ходов. Кажется, вот совсем умно считаешь, а потом и попадешься.

Иоанн самодовольно улыбался, поглаживая рукой свою бороду, затем откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Вяземский сидел не шевелясь, чтобы не нарушить царственного молчания.

— Да, Афоня, — ласково начал Иоанн, открывая глаза, — ты молвил сейчас, что не понимаешь моей игры, но едва ли вы все можете проникнуть в мои намерения и в государственных делах. Меня называют тираном, но есть ли в этом правда?..

— Кто осмеливается, великий государь, говорить это. Разве только тот, кто не любит своей земли.

— Истинно, истинно рек! — с одушевлением воскликнул царь. — Что было в нашем царстве в мое малолетство? Ведомо ведь и тебе, что оно запустело от края до края, а я лишь стараюсь искоренить тому причину.

— Одно можно молвить, государь, что там, где рыскали прежде дикие звери и были безлюдные пустыни, теперь цветут села и города.

— Я всегда следовал и до конца бранных дней моей трудной жизни буду держаться правила, что горе тому дому, где владевает жена, горе царству, коим повелевают многие. Верных моих слуг я люблю, караю только изменников. Для всех я тружусь день и ночь, проливаю слезы и пот, видя зло, которое и хочу искоренить.

Царь глубоко вздохнул, снова закрыл глаза и впал как бы в забытье.

В его пламенном воображении стали проноситься одна за другой картины будущего величия России. Он видел сильное войско и могучие флоты, разъезжающие по всем морям под русским флагом и развозящие русские товары. Воображались ему приморские гавани, кишящие торговой деятельностью, русские люди, живущие в довольстве, даже в изобилии. Представлялись ему нелицеприятные судьи и суды, — везде общая безопасность и спокойствие.

Очнувшись, царь взял стоявший около него посох и стал большими шагами ходить по комнате.

В это время тихо отворилась дверь и в палату вошел стольник царя Борис Федорович Годунов.

Это был красивый юноша, сильный бронеет, с умным лицом, на котором читались твердость, решимость и непреклонность воли, но теперь во всей его фигуре выражалась робость, почтительность и покорность перед царским вели-

чем.

Иоанн, остановясь, бегло взглянул на Годунова и быстро спросил:

— Что тебе, Борис?

Тот, низко поклонившись и почтительно сложив на груди руки, сказал:

— Преподобный игумен Чудова монастыря, архимандрит Левкий желяет предстать пред светлые твои очи, государь!

— Зови его!

Стольник вышел, и вскоре в палату вошел Левкий, угодник и потворщик страстям Грозного.

Он предстал с смиренным видом: глаза были опущены вниз и руки сложены крестообразно.

Помолившись пред иконами, он подошел к царю и смиренно произнес:

— Да благословит тебя Господь на всякое благое дело!

Царь набожно подошел под его пастырское благословение.

— Пойдем, отец, — проговорил Грозный, — ты нужен мне.

Оба они прошли в опочивальню.

Князь Вяземский, отвесив обоим низкий поклон, тихо удалился.

— Чем может служить недостойный пастырь великому государю? — усаживаясь в кресло по приглашению Иоанна, промолвил игумен, когда они вошли в опочивальню и остались там вдвоем.

Грозный сел на свое роскошное ложе и оперся на посох.

— Слушай, отец: я царь и дело трудное — править большим государством; быть милостивым — вредно для государства, быть строгим — повелевает долг царя, но строгость точно камень лежит на моем сердце. Вот и сегодня, в годовщину моего венчания на царство, вместе с придорожными татями погиб на виселице сын изменника Воротынского, — неповинен он был еще по делам, но лишь по рождению. Правильно ли поступил я, пресекши молодую жизнь сына крамольника, дабы он не угодил в отца, друга Курбского?

Говоря эти слова, Грозный пытливым оком смотрел на игумена и, казалось, хотел насквозь проникнуть в его душу.

Левкий несколько минут молчал, смиренно опустив глаза в землю и перебирая четки. Казалось, он придумывал и составлял ответ, который бы понравился Иоанну и не раздражил бы его.

Нетерпение Иоанна постепенно усиливалось, и он наконец вскрикнул:

— Ну, что же ты молвишь мне?

Игумен поднял голову и ответил:

— Наказывать преступников — долг государя, иначе он сам будет преступником. Вспомни, о царь великий и мудрый, о пророке Моисее: он был на горе Синае, а израильтяне в то время сотворили себе золотого тельца и поклонялись ему. Что сделал он? Избил тысячи преступников. Среди них были и неповинные дети преступных отцов. Сам Господь часто повелевает карать до седьмого колена. Притом ведомо и Отцу Небесному, что действуюешь ты, государь, радея лишь о благе своего народа, и первый среди всех богомолец за убиенных крамольников.

Иоанн просиял.

— Добрый ответ, отче! А другие не так мыслят: называют меня кровопийцей, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь горячими слезами. Кровь видят все: она красная, всякому в глаза бросается, а сердечного плача моего

никто не зрит; слезы бесцветно падают на мою душу и словно смола горячая прожигают ее.

Царь при этих словах поднял взор свой кверху, как бы исполненный глубокой горести.

— Яко же древле Рахиль, — продолжал он и глаза его закатились под самый лоб, — яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так и аз, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, преподобный отец.

Игумен с смиренным видом слушал похвалы своего венценосного духовного сына. На секунду лишь едва заметная улыбка торжества промелькнула на его тонких губах.

— Помолимся о новопреставленном боярине Владимире, — вдруг сказал царь и встал с кресла.

Левкий быстро вскочил и рядом с Иоанном опустился на колени перед громадным иконостасом, стоявшим в царской опочивальне и освещенным несколькими лампадами червонного золота, блеск которых отражался в литых золотых окладах множества образов.

Время этой молитвы царя и игумена об упокоении души новопреставленного боярина Владимира как раз совпало с временем загадочного похищения с виселицы на лобном месте одного из трупов казненных в день 16 января 1569 года.

III

Малюта Скуратов

Григорий Лукьянович Малюта Скуратов-Бельский по внешнему виду был человек высокого роста, сильного телосложения, с неприятной, отталкивающей физиономией. Опишем подробнее наружность этого «знаменитого опричника», — она стоит такого описания. Низкий и сжатый лоб, волосы, начинающиеся почти над бровями, несоразмерно развитые скулы и челюсти, череп спереди узкий, переходивший сразу в какой-то широкий котел к затылку, уши, казавшиеся впалыми от выпуклостей за ушами, неопределенного цвета глаза, не смотревшие ни на кого прямо, делали то, что страшно становилось каждому, кто хотя вскользь чувствовал на себе тусклый взгляд последних, и каждому же, глядя на Малюту, невольно казалось, что никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не в силах была проникнуть в этот сплюснутый мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое, безнадежное, возбуждавшее страх и ужас, смешанные с отвращением, во всех так или иначе сталкивавшихся с ним людях, даже в его сотоварищах, приближенных и родных, исключая самого царя Иоанна Васильевича, который любил и дорожил своим верным слугою.

Малюта действительно являлся всегда точным и самым старательным исполнителем жестокостей Грозного, угадывал его малейшее желание, волю, никогда не противоречил его приказаниям, вполне убежденный в их необходимости и разумности, — словом, был слепым орудием в руках царя, беспрекословным, почти бессловесным рабом его, собакой, готовой растерзать без разбора всякого, на кого бы ни вздумалось царю натравить ее.

За это-то Иоанн и любил его и всецело доверял ему, не находя для своих жестоких повелений более достойного и лучшего исполнителя.

Ограниченный умом, Григорий Лукьянович по природе своей был мстителен,

зверски жесток, и эти отрицательные качества, соединенные с необычайной твердостью воли и отчаянной храбростью, делали его тем «извергом рода человеческого», «исчадием кромешной тьмы», «сыном дьявола», каковым считали его современники и каким он до сей поры представляется отдаленному на несколько веков от времени его деятельности потомству.

Летописцы и историки не жалели и не жалеют темных красок для наложения позорного исторического клейма на этого, почти мифического, поборника зла и порока.

Имя Малюты стало синонимом палача.

Нельзя положительно утверждать, что в нем не было ничего человеческого, порядочного и честного, но все это проявлялось так слабо в этой сильной натуре, что на первый план выступало все-таки нравственное уродство этого человека.

Мы застаем его на другой день описанных нами в предыдущих главах событий в собственных, роскошных московских хоромах, в местности, отведенной в столице исключительно для местожительства опричников, откуда, по распоряжению царя, еще в 1656 году были выселены все бояре, дворяне и приказные люди. Местность эта заключала в себе улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым-Врагом и половину Никитской с разными слободами.

Григорий Лукьянович сидел в большом кресле, обитом малиновым бархатом. На нем был богатый, шитый золотом кафтан, за кушаком торчал длинный кинжал в дорогих ножнах.

Перед ним в почтительной позе стоял маленький, сутуловатый толстенький человек. Кругленькое, сравнительно с ростом огромных размеров, брюшко покоилось на коротеньких ножках и придавало всей фигуре стоявшего шарообразный, комический вид.

Это был наперсник Малюты, более умный, чем он сам, а потому и необходимый для него советник.

Григорий Лукьянович доверял ему все свои тайны и полагался на него, как на самого себя.

Звали его Тимофеем Ивановичем Хлопом или, как звал его Малюта, а также все домашние и приближенные грозного опричника — последние, конечно, заочно, — Тимошка Хлоп.

Тимошка был злобен и жесток, любил наушничать, и все окружающие ненавидели и боялись его.

— Так ты говоришь, что Яшка повесился, сам себя предал казни? Как будто на его шею не достало бы у нас другой петли, не нашлось бы и на его долю палача! Али затруднять не пожелал? Чуюл, собака, что не стоит новой веревки. Исполать ему, добру молодцу!

Малюта оглашал воздух хриплым, злобным хохотом и чуть не прыгал на кресле. Глаза его сверкали диким огнем зверской радости, и морщины, эти печати преждевременной старости и разгульной жизни, расходились по всему лицу.

Тимошка глядел в упор на своего властелина. В его маленьких, сереньких глазах отражались все его внутренние качества: хитрость, лукавство, злоба и зверство, а на его тонких губах играла торжествующая, змеиная улыбка.

— Как докладывал твоей милости, Григорий Лукьянович, повесился Яков вчера ночью, а ноне утром зарыли его, пса смердящего.

— Ловко, неча сказать, подстроил ты, брат, эту штуку, ловко, хвалю... —